

ИРИНА ЛЕЙК

ДВОЙНАЯ ТЕНЬ

18+

Имена. Российская проза

Ирина Лейк

Двойная тень

«Азбука»

2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Лейк И.

Двойная тень / И. Лейк — «Азбука», 2026 — (Имена.
Российская проза)

ISBN 978-5-389-33047-4

После легкого и головокружительного путешествия в «Ста способах сбежать» Ирина Лейк уводит читателя в новый захватывающий роман, не сбавляя скорости: на этот раз нас ждет динамичный психологический триллер, где автофикшен вдруг превратится в запутанную историю с загадками, неожиданными поворотами и мрачной тенью, которая преследует героиню с самого детства, не позволяет ей дышать и быть счастливой и всегда оказывается сильнее. Казалось бы – выхода нет? Но только не в этой истории, где автор не даст вам застрять в бесконечной боли, где даже в самой непроглядной темноте найдется капля света, а за страшной пугающей тенью окажется тот, кто всегда держал за руку, не давая упасть.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-33047-4

© Лейк И., 2026
© Азбука, 2026

Ирина Лейк

Двойная тень

*Автор выражает благодарность за помощь в создании книги
подруге и консультанту, аналитическому психотерапевту Наталии
Андреевне Холиной*

Оформление обложки: Студия графического дизайна «FOLD & SPINE»

Фото Елена Олейникова

Книга создана при содействии литературного агентства «Вимбо»

© И. Лейк, 2026

© ООО «Вимбо», 2026

© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Об авторе



Фото Елена Олейникова

Ирина Лейк – автор бестселлера «Сто способов сбежать», ставшего лауреатом премии «ЛУЧ-2025», романов «История Аптекаря, райских птиц и бронзовой головы слона», «День между пятницей и воскресеньем» (готовится экранизация) и множества книг для детей.

В 2025 году стала победителем премии имени Корнея Чуковского с произведением «Капибара Тамара» в номинации «Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет». В ее переводе вышло более 70 произведений, включая роман Арнона Грюнберга «Тирза», вошедший в 2022-м в короткий список премии «Ясная Поляна». Книги, написанные и переведенные Ириной Лейк, объединяет очень важное качество: они помогают выбраться из ежедневной рутины, отказаться от ненужных правил и стать хотя бы немного счастливее.

* * *

Девочка играет. Кудряшки светятся на солнце. Его никогда не бывает тут слишком много, но оно все равно старается пробиться к ней сквозь густую листву старых деревьев, и девочка радуется. Ей хочется радоваться, но она знает: много радоваться нельзя, радуется осторожно, чтобы взрослые не заметили. С солнцем можно радоваться, и она всегда ему улыбается. Так будет и потом, когда она станет большой, а пока она совсем маленькая, но знает уже много, а еще больше помнит. Она даже помнит, как делала тут первые шаги. На ней были ботиночки из тонкой белой кожи с коричневыми подошвами, она переступала ножками, крепко держалась за металлические прутья, и на ладонках оставались блестящие искорки серебристой краски – ей казалось, это волшебство. Девочка любит все волшебное, она маленькая, она везде ищет сказку, чтобы держаться за нее как можно крепче.

Мама не разрешает уходить далеко, настороженно хмурит брови, смотрит по сторонам, нет ли незнакомцев, но сюда редко заходят, это старый участок, он почти в лесу. Мама всегда боится, а девочке никогда не бывает страшно, она знает, что не одна, на нее смотрят. Они свои, она знает их с рождения, они везде, со всех сторон и смотрят как будто всегда одинаково, но на самом деле притворяются: она понимает, когда они довольны, а когда сердятся, у кого какие новости, какое настроение, кто заскучал, а у кого всегда в запасе шутки – одни и те же. Они приглядывают за ней, им это в радость. Она знает их всех до одного, заходит в гости, любит цветы, у кого-то слушает птиц – тут у многих живут птицы, у кого-то девочка замечает пятнышко или листик и наводит свой маленький детский порядок. Больше всех она любит старушку за кипарисом, где тепло и солнышко, и старушка угощает конфетами. Однажды какие-то незнакомые взрослые привели сюда свою девочку с беленькими волосиками, в косынке. Ее тоже отпустили поиграть, велели не уходить далеко, и две девочки играли вместе. Но беленькая была странная, всего боялась, ни до чего не дотрагивалась, и, когда они зашли в гости к старушке, где кипарис и всегда тепло, старушка сначала обрадовалась, а потом расстроилась, что беленькая не стала брать ее конфеты, даже не захотела посидеть, только испуганно вытерла ладонки о платице, смешно выпучила глаза и сказала:

– Ты что, нельзя! Никогда нельзя есть эти конфеты, потому что тогда ты тоже... понимаешь? Тогда ты тоже... – Последнее слово она сказала совсем шепотом, потому что для нее оно было страшное, но разве это страшно? Что с того, если ты тоже? Ведь тогда тебя будут любить сильно-сильно, как можно любить только тех, кого нет. Любовь к тому, кого нет, намного сильнее. Ради нее они и ходят сюда почти каждый день, даже если дождь, или совсем не хочется вставать, или болят ножки, или кашель. Они все вместе или только вдвоем с мамой все равно идут сюда каждый день, через грязь или через сухой асфальт, через пыль и песок. Не ходят только зимой, поэтому девочка так радуется осени и так любит зиму. Когда зима все равно уходит и начинает таять снег, она капризничает, плохо спит и много плачет. Хотя обычно она не плачет почти никогда. Мама тоже никогда не плачет. Девочка знает: плачут, только когда есть повод, когда ушибли коленку или опоздали на самолет. Но у мамы внутри что-то такое...

Девочка никак не поймет, что это – она просто чувствует. Она очень не любит то, что внутри у мамы, то, от чего мама не может плакать. Она каждый раз надеется, что зимой это растает. До весны ведь так много времени, маму можно успеть спрятать, согреть, отвлечь, и *это* растает. Девочка любит зиму, тогда у них все становится почти как у других. Только вот фотографии... Они спрятаны, но все равно попадают, как-то умудряются вылезти и сделать всем взрослым больно, напомнить ей, кто сильнее, кто старше, кто лучше, и что он тут, он есть, и его больше, чем ее самой. У бабушки и дедушки фотографии ведут себя совсем по-другому, там их некому прятать, папа туда почти не приезжает, так что там фотографии заполонили весь дом, им все равно, зима или лето, там их место и время. А дома пусть бы всегда была зима.

Когда дело катится к весне, девочка тревожится, тянет зимнее время, по вечерам выпрашивает хотя бы еще один, совсем маленький кусочек сказки, хотя бы еще пять минуточек, просит маму:

– Расскажи, как я родилась.

Ведь девочка есть, она тут, значит, она все-таки родилась? Мама не любит рассказывать, она рассказывает коротко, только о том, что в тот день был дождь, много дождя, и что девочку привезли домой и купали, и она была маленькая. Да, очень уж маленькая. Мама вздыхает, целует ее и говорит:

– Спи.

Девочка слушается, закрывает глаза и очень старается спать, но потом все равно плачет. Так, чтобы никто не слышал. Подушка становится мокрой, от нее болит голова, иногда идет носом кровь, и тогда можно позвать маму, а потом долго сидеть с мамой вдвоем в ванной за закрытой дверью, с ватным тампоном в носу и тихонько радоваться. Разговаривать все равно не получится, мама скажет: «Помолчи, а то кровь пойдет сильнее» – но зато будет рядом. Она будет вздыхать, хмурить лоб, но рядом. На «расскажи, как я родилась», она не согласится, не стоит и пробовать, не согласится на много слов, как у бабушки. Бабушка рассказывает по-другому. Про то, как ждала дома на кухне и смотрела в окно, а потом, когда приехала машина, сбежала вниз по ступенькам и взяла на руки девочку в одеяле. Одеяло было толстое и красное, а девочка в нем – маленькая, но сразу узнала бабушку, потому что сморщила носик. Бабушка показывает как, морщит свой большой взрослый нос и всегда смеется, а потом немножко вытирает слезы. Девочка хочет, чтобы она говорила еще, она берет ее лицо руками и поворачивает к себе и опять просит:

– Расскажи, как я родилась.

А потом еще и еще. Ей очень нужно. Как же они не понимают? Ей нужно убедиться, что она родилась. А если говорить про это много и часто, то, может быть, этих слов когда-нибудь станет больше, чем тех, других, про него. Может быть, когда-нибудь. Но пока тех других так много, они есть всегда, со всех сторон и от всех. Он все равно остается сильнее и старше, и она смиряется.

Тропинки узкие, на лавочках облупилась краска, но девочка кружится, задрав голову кверху. Наверху небо и узор из веток высоко-высоко. Еще выше кричит птица, и в божьем палисаднике поскрипывает калитка. Может, все-таки ее нет? Она кружится, пока ей не начнет казаться, что это ветки внизу, а она сама наверху, и тогда она останавливается. Держится за металлические прутья черной решетки, идет дальше по узким тропинкам. Она боится тут только одного места – там все в игрушках и на ветру крутится яркая вертушка из фольги. Это плохое место. Вертушек она будет бояться всегда, даже потом, когда станет большой. А сейчас нужно скорее отсюда уйти, вот и мама уже ее зовет.

Наконец они уходят домой, оставив огонек в баночке и конфеты. Калитку нельзя закрывать – такие правила, калитка должна быть всегда открытой. Девочка бежит впереди всех, они идут гуськом по узким тропинкам – девочка, мама и папа. Она радуется, она может пройти

тут хоть в темноте, хоть с завязанными глазами, ей так радостно, что они уходят домой, и она начинает петь. Но ее обрывают: «Тихо!»

* * *

Надо выбросить мешки с мусором в высокий контейнер, вымыть руки под струей ледяной воды. Она очень торопится, придумывает, что устала, что ей хочется пить или есть или что у нее болит живот, но получается плохо, потому что радость от того, что они уходят, все портит, лезет наружу изо всех сил. Девочка старается сердиться на себя, старается быть хорошей и большой. Хотя она знает: это мальчик большой, а она – маленькая. Так будет не всегда, потом все поменяется, но пока это так. Она старается прочитать надпись на железных воротах, называет старательно выученные буквы: «К-Л-А-Д...» Клад! Она радуется и заглядывает маме в лицо, но та почему-то опять сердится. Но все равно. Пускай. Главное – они отсюда уходят. Хотя бы до завтра.

* * *

Что бы я ни делала, сколько бы мне ни исполнилось лет, за мной всегда следовала тень моего брата. Она, разумеется, была намного больше моей собственной тени и намного больше меня самой. И если моя тень послушно следовала за мной или бежала впереди, то эта закрывала меня от всех черным пятном, не давая ни малейшей надежды, ни единого шанса из-под нее выбраться.

* * *

Однажды я зашла к врачу проверить родинки, и он сразу обратил на это внимание – оказалось, что я ношу на правой лопатке незаживающий шрам. Такое бывает, улыбнулся он, очень редко, но бывает: организм постоянно вырабатывает келоид, пытаюсь лечить несуществующую рану. Доктор легко пожал плечами и опять улыбнулся:

– Ваш организм сбил себя с толку, лечит и лечит то, чего нет. Мы все поправим.

Улыбчивый доктор не знал, что мой организм не был таким уж глупым. Рана существовала.

– Мы это запросто вылечим, – назойливо повторял он. – Сделаем всего один укольчик под этот ваш шрам, и поверьте, все прекратится, все успокоится. После первой же инъекции.

Инъекция не помогла. Ни первая, ни восьмая. Организм отчаянно продолжал лечить свой незаживающий шрам и то, что никогда и никто не видел.

* * *

Я не знала, кто я на самом деле, – ни тогда, когда была маленькой, ни потом, когда выросла. Я могла в любую минуту стать кем угодно. Стала ли я взрослой, я тоже не знала, но я выросла. И сохранила в себе ту способность. Или она сохранила меня. Я всегда шлифовала и лелеяла этот талант, стремясь к абсолютному совершенству.

* * *

Они возвращаются чаще всего прямо на следующий день, и взрослым сразу становится не до девочки – они очень заняты, всегда. Убирают, моют, красят, сажают цветы, собирают

опавшие листья, просто сидят на скамеечке, просто стоят. Открывают и так открытую калитку и сразу становятся другими, не такими, как дома, будто они не ее мама и папа, а чьи-то еще. Но других детей в семье нет, только она, девочка. Взрослые почти не разговаривают, почти не смотрят на нее, почти не улыбаются. Девочка не требует улыбок – она ведь должна все понимать, и она старается. Она не знает, что это – то, что она чувствует, откуда вдруг появляется огромная пустота, в которой ей холодно, неуютно и страшно, и девочка убегает от нее, убегает играть. К тем, кто за ней присматривает. С ними спокойно, они не обижают. Она видит, они ей улыбаются, чувствует, кто доволен, кто сердится, а у кого опять дурное настроение. Забегает к бабушке за кипарисом, где всегда тепло и солнышко, а потом начинает превращаться. Девочка может превратиться в кого угодно, может стать Золушкой или Белоснежкой. Ей говорили, многие тут просто заснули. Но она умнее, она знает: тут никто не спит, ведь они всегда на нее смотрят. Они берегут ее и никому не расскажут ее секреты, ведь она тоже никогда не рассказывает их секрет. Они знают, что она может в любой момент превратиться в кого угодно, стать эльфом, волшебницей, невестой. Белоснежка нравится ей больше всего. Однажды девочка зашла к кому-то из них в гости, легла на лавочку, сложила маленькие ручки и закрыла глаза, представляя, что сейчас ее поцелует принц. Она была очень красивой – чтобы сплести венок, она специально собирала ромашки и одуванчики, за которые мама обычно сердилась: от них на одежде и на руках оставались пятна. Но по дороге сюда мама смотрела всегда куда-то как будто мимо девочки и не замечала ни пятна, ни одуванчиков. Венок получился, как у настоящих лесных фей. Девочка надела его на голову, легла на лавочку, закрыла глаза и превратилась в Белоснежку. Над ней пели птицы, в божьем палисаднике поскрипывала калитка, в небе шелестели листья: вот-вот совсем рядом должны были застучать подковы лошади прекрасного принца, но вместо этого раздался крик. Кто-то жутко кричал, и это было зря. Неправильно. Взрослые не должны бояться детей. Взрослые не должны бояться. И уж тем более здесь. Зачем эта глупая женщина подняла крик, будто была не взрослая, будто ей пять лет. Из-за нее мама так сильно сжала девочке руку, что стало больно. Ее быстро увели, усадили под дерево и отругали, тихо и резко, она подумала, что, когда кричат, – намного лучше. Потому что крик может прогнать холодную пустоту, а от тишины пустота только разрастается, становится плотнее и больше. Девочка представила, что она на другой планете, что ей легко, она ничего не весит и сейчас, наконец-то, отпустят руку, и она улетит. Далеко-далеко. Чтобы больше не возвращаться. И тогда ее тоже полюбят. Сильно-сильно.

* * *

Мне нравилось нравиться. Чтобы нравиться людям, надо стараться. Всегда. Восхищенные взгляды не могут быть сами собой – в такие я не верила. Я знала: похвалу, одобрение и восторги надо заслужить. Всегда старалась угодить, угадать, уловить. Старалась приносить пользу и удовольствие. Мне нужно было радовать, угождать и спасать. Ничего другого я не умела и не могла научиться. Я лезла из кожи вон перед школьными учителями, перед подругами и их родителями, я довела себя до обмороков, вставая на «мостик», чтобы преподаватель хореографии в школе искусств меня похвалил или хотя бы не наорал, как на всех, – в те времена учить детей балету было принято именно так. От «мостика» кружилась голова, во рту появлялся кислый привкус, и становилось невозможно дышать. Причем все это случалось сразу, стоило только подумать о «мостике» и хореографии с ее преподавателем, молодым мужчиной с плоским лицом и раскосыми глазами. Он всегда или орал, или говорил тихо и резко. Неизвестно, что было лучше. Он был очень беспокойным, и я часто думала, как сильно он мог бы измениться, будь он не здесь. Он мог бы стать совсем другим, он мог бы улыбаться, мог стать мудрее, лучше и тише. Может быть, я даже перестала бы его бояться, может быть, даже приходила его навестить. Но он был здесь и продолжал терзать детей на занятиях, а по

ночам снился мне летящим на такой же, как он, злобной лошади, с ножом и в одежде, похожей на ковер. Кроме него, в моих снах часто появлялась учительница математики. Ради нее мне приходилось стараться особенно усердно, но я ничего не понимала ни в ее учебниках, ни в объяснениях, ни в словах и графиках, написанных и нарисованных скрипучим белым мелом и разбросанных по доске. Стараться мне нравилось, я не была глупой, но у меня все равно никогда не получалось порадовать ее или хотя бы угодить. Цифры меня ненавидели, и на уроках мне больше всего хотелось превратиться – все равно в кого. Я делала вид, что это не я, представляла, что я не тут, молилась, чтобы меня не вызвали, закрывала глаза и хотела улететь далеко-далеко, чтобы больше не возвращаться. Мне не хотелось школы – мне хотелось субботы, чтобы завтра пойти на кладбище. Там я не была глупой или беспомощной, там я всегда знала, что и как правильно делать. А еще за мной там всегда присматривали. Они понимали меня лучше всех, они улыбались, с ними было спокойно. Но все взрослые в моем окружении считали, что мне нужны друзья, мои ровесники, настоящие дети из школы. Я так не считала, но пыталась подружиться. Я очень старалась. Мне хотелось дружить с лучшими девочками в классе, с теми, о ком хорошо отзывалась мама. Они все были похожи на беленькую девочку, которая испугалась тогда в гостях у старушки за кипарисом, где всегда было тепло и солнце. За одной из таких девочек я ходила хвостом, хвалила ее платье, волосы, восхищалась оценками и передавала записки от влюбленных в нее мальчиков, причем большую часть из них писала сама. Ей нравилось. Она позволяла мне таскаться за собой в школе, следовать за ней в изостудию, приходиться болеть за нее на конкурсы балльных танцев, где она быстро и нелепо, как деревянная кукла, всегда не в такт переставляла кривоватые ноги с острыми коленками. Я смотрела на нее, и мне было неловко и почему-то немного стыдно, хотя танцевала она, а я только таскалась за ней, следовала за ней шаг за шагом и все время хвалила. После очередного провала на танцевальном конкурсе я пыталась ее утешить, убеждая, что она все равно лучше всех, но она вдруг обернулась и тихо и резко сказала мне, чтобы я прекратила, потому что ей от меня противно. Больше я к ней не приближалась.

* * *

С новенькими поначалу было трудно разобраться. Они появлялись тут редко, на этом старом участке все уже были на своих местах: старые соседи, старый мир, где все знали, как правильно, знали всё про всех. Это был тихий надежный уверенный мир, над которым густо сомкнулись деревья, на ветвях пели птицы, в божьем палисаднике поскрипывала калитка. Но иногда все равно кто-то возникал: или подселся к тем, кто уже был тут, или втискивался в этот мир, нарушая покой. Сначала это всегда было громко и резко, много людей, много некрасивых цветов, ленты с золотыми буквами, по которым девочка училась читать: «Лю-бим», «Пом-ним», «От род-ных». Люди и правда помнили, но не очень долго. Сначала не хотели уходить, горевали и звали, потом приходили часто, потом реже, потом как будто извинялись глазами, потом приходили с кем-то, а потом все опять становилось как раньше. У новеньких появлялись фотографии, буквы и цифры, и они тоже становились своими, не тревожились, улыбались и приглядывали, берегли.

* * *

Митя возник сам собой. Он не мог меня заинтересовать, потому что сразу стал смотреть неправильно – с восхищением, с удовольствием, и мне это не нравилось, раздражало и немного пугало. Мне было неприятно от его взглядов. Я никогда не верила, когда на меня так смотрели, и не хотела замечать Митю. Однако его это нисколько не расстраивало, он привык – его всегда

не очень замечали, он был невзрачный и блеклый. Поначалу. Потом, конечно, изменился, когда уже обосновался рядом со мной.

Его первое появление совпало с тем самым днем, когда меня чуть было не разоблачили. Из-за него, из-за Мити. Я думаю, что именно тогда он и почувствовал надо мной власть. А если это случается с кем-то хоть один раз, потом люди уже ни за что не согласятся отказаться от этого чувства.

Митя следовал за мной по пятам, не пропускал ни одного шанса оказаться рядом, провожал меня до дома на метро, хотя жил на другом конце города, приезжал ко мне на работу в обеденный перерыв и звонил, чтобы я спустилась и забрала теплый суп, который он приготовил для меня сам. Он распечатывал для меня статьи и рефераты, забирал из химчистки мою одежду, ждал часами, пока я закончу спасать, а потом вез домой – со временем он купил машину, чтобы мне было тепло и никто не толкался. Дома он надевал мне теплые носки и, заглядывая в глаза, выпрашивал о том, как прошел мой день. Когда нас с коллегами сослали в командировку на полгода в далекий заброшенный городок на севере, где все эти полгода были зима, темнота, снег и холод, Митя приехал туда ко мне на третий день. Он привез мне новый огромный пуховик и вытащил из-под куртки живые настоящие цветы. Он уже не смотрел на меня с восхищением, он просто за мной присматривал, следовал за мной, он был рядом, он знал обо мне все. Это было знакомо. Я сдалась.

* * *

В дверь позвонили, когда мы с Митей уже почти год жили вместе.

– Кира! – крикнул Митя. Он был на кухне, я работала за ноутбуком в комнате. – Это кто еще в такое время? Ты что-то заказывала? – Он сунул голову в комнату, поднял на меня белесую бровь, но я только покачала головой, пожала плечами, и он пошел открывать.

Я не поняла, кто пришел, решила, кто-то из соседей или из ЖЭКа, или перепутали дверь. Прислушалась – так и есть, кто-то ошибся адресом:

– Да нет же, я уже пять раз вам повторил, такая тут не живет, – с досадой объяснял кому-то Митя, а женский усталый голос продолжал пыхтеть ему в ответ, что все совпадает.

– Я вас уверяю, что этого не может быть! – закипал он. – Ну в самом деле, ну какая Николетта Викторовна? Нет у нас таких и никогда не было, до свидания, девушка, идите и разбирайтесь, для кого это ваше извещение! – Митя распалялся все больше, ему не нравилось, когда кто-то вторгнулся в его пространство и особенно – в его время. – Да, я все вижу, адрес, улица, квартира, да-да, у вас ведомость, в ведомости печать, но Николетты Викторовны тут отродясь не было! Повторяю вам еще раз – такая тут не живет. Не! Живет! – отчеканил он.

Я поднялась, вышла к двери, тихонько взяла его за плечо и сказала уставшей девушке:

– Николетта Викторовна – это я.

* * *

Мальчика звали Николай. Никаких девочек в семье не планировалось и не могло быть. У мамы и папы был мальчик. Он был лучше всех. Других детей в семье не было. И даже после того, что случилось, их не должно было быть никогда. Но когда обстоятельства подвели, а может, досадная нелепая слабость сложилась таким образом, мама долго молчала, а потом сказала, что терять сразу двоих детей она не может. И девочка осталась.

Папа сам пошел регистрировать новорожденную дочь. Мама была еще в роддоме, с девочкой не все было просто. Когда папу спросили, как зовут его ребенка, он не мог сказать ничего другого. Его ребенка звали Николай. Он так и сказал, и тут же испугался. Ужаснувшись

и проглотив подступившую боль, на мгновение перекрывшую дыхание, он попытался исправиться:

– Нико...

– Николетта? – Быстро подхватила не в меру бойкая сотрудница загса. – Какое прекрасное имя! Очень модное сейчас. Вашей девочке очень повезет в жизни с таким именем!

Когда растерянный папа вернулся и показал маме свидетельство о рождении, она внимательно прочитала имя, записанное в официальном документе с печатью, потом посмотрела на папу и твердо сказала: «Ни за что». Ни разу в жизни она не назвала девочку Николеттой. Или хотя бы Никой. Несколько недель девочка оставалась совсем без имени. Все это время мама пристально рассматривала сморщенную, слабенькую и очень маленькую дочь, а потом назвала ее Кирой.

* * *

– Николетта Викторовна? Николетта?! Викторовна? – бушевал Митя, рысью бегая по кухне. – Ты серьезно?

– Абсолютно, – кивнула я.

– И как это могло получиться?

– Что именно? Что я ненавижу собственное имя?

– И это тоже! Но для начала я хотел бы узнать, как это могло случиться?

– Меня так называли. Родители.

– Да не это! Почему я до сих пор об этом не знал?

– Потому что ты ни разу не смотрел в мой паспорт. И не брал выписку из домовой книги. За границу мы не летали. Квартира съемная. Квитанции я оплачиваю в личном кабинете. – Я пожала плечами. – Как-то так и получилось.

– Но на работе? У тебя даже на бейдже написано «Кира Павлова»!

– На работе меня ценят, прощают слабости и удовлетворяют редкие просьбы.

– Это не маленькая редкая слабость, Кира! Это вообще не слабость, знаешь ли! – Он подскочил как ужаленный и заметался по кухне еще быстрее. У меня зашумело в ушах. – Это уже смахивает на...

– На что? На кражу личности? Я ничего не крада. Завтра можешь зайти в отдел кадров и попросить мое личное дело, там тоже черным по белому написано, что я – Павлова Николетта Викторовна. Но да, все называют меня Кирой. Меня вообще почти все знают только как Киру. Все мои статьи подписаны Кирой. Мне так комфортно, Митя. А всем вокруг важно, чтобы мне было комфортно. Если мы про работу. Кроме отдела кадров, начальства и юротдела про Николетту Викторовну никто и не знает. И я бы хотела, чтобы так оставалось и дальше.

Он помолчал, пожевал губу, посмотрел на меня и сказал уже нормальным голосом без взвизгов на повышенных тонах:

– Тебя прямо так и называли?

– Прямо так, – кивнула я, сходила в комнату, принесла паспорт и протянула ему.

– Очуметь, – сказал он, внимательно рассмотрел первую страницу, полистал зачем-то все остальные и вздохнул. – Пум-пум-пум... Имечко, конечно, м-да... Больше подошло бы цирковой лошади.

Он хихикнул. Я сделала вид, что не заметила. Что мне все равно. Что мне не обидно. Я привыкла. Я была самой высокой в классе лет с восьми. Когда мне было шестнадцать, меня звали в модельное агентство, но я не поверила тем людям, даже когда их директор встретился с моей мамой и попытался ее уговорить. Я испугалась того, как они на меня смотрели. Дети в школе дразнили меня лошадкой. Не знаю, почему не жирафом. Но в любом случае это было гораздо приятнее восхищенных взглядов и комплиментов. С обидами и оскорблениями

я справлялась легче, чем с комплиментами. Обидные слова меня не удивляли. Мне было привычнее, когда меня игнорировали, а не когда мной любовались. От восхищений мне сразу же хотелось сбежать. Так что «дылда», «лошадь» и «каланча» были нормальной историей. Когда большой человек из департамента в прошлом году назвал меня на торжественном итоговом собрании «врачом *высочайшего* уровня», кто-то из коллег хихикнул. Возможно, это был и Митя. Митя позволял себе подобные шуточки в мой адрес. Я никогда на него не обижалась.

– Рада, что ты меня понимаешь, – спокойно ответила я ему. – Имя ужасное, и я всегда его ненавидела. Я все детство и весь пубертат мечтала только о том, как я его поменяю. Как только мне исполнится восемнадцать. В тот же день. Побегу и поменяю.

– Почему восемнадцать, а не четырнадцать? Вроде же можно с четырнадцати? Паспорт же в четырнадцать дают?

– В четырнадцать надо согласие родителей. Мама ни за что бы не согласилась.

– Но она же сама всегда называла тебя Кирой! Никогда по-другому! Не Никой, не Викой, не как там еще... Леттой? Я никогда не слышал, чтобы тебя звали по-другому. Твоя мама никогда не называла тебя Николеттой.

– Не называла. – Я кивнула. – Меня никто так не называл. Я для всех была Кирой. Николетта оставалась в официальных бумажках, справках и документах, в которые все равно никто никогда не заглядывает. Но маме льстило, когда я получала красный диплом или аттестат с отличием, и на сцену вызывали не Киру, а Николетту. В такие моменты она мной гордилась. Эта Николетта Викторовна была... не знаю, достижением, знаком отличия. Ее надо было заслужить. Надо было к ней стремиться и стараться. Она выдавалась мне по особым случаям. А я ее ненавидела. И до сих пор ненавижу до такой степени, что изо всех сил стараюсь запрятать подальше и вообще не вспоминать, что меня так зовут. Так что прости за то, что не рассказала тебе раньше.

– Если ты так ненавидишь это имя, то почему до сих пор его не поменяла? Сейчас же тебе согласие родителей не нужно. Так возьми и поменяй! Ты же взрослая!

– На что поменять? На Киру?

– На Киру.

– Не хочу. – Я старалась не смотреть на него, уставилась в стол и обводила пальцем квадраты на скатерти. – Менять на Киру – это как-то очень уж шило на мыло. Кира? Она ведь на самом деле и есть фальшивая Николетта.

– Ой, да что за бред! – Он плюхнулся на стул напротив и взял меня за руку. Он не злился. Это было важно. – Что ты придумываешь? Какая вообще разница? Ну не хочешь на Киру, поменяй на другое имя!

– На какое? – Я подняла на него глаза.

– Да хоть на какое! – фыркнул он. – На Дашу, на Сашу! Да хоть на Глашу! Просто возьми да поменяй!

* * *

Взрослые не всегда грустные, когда они тут. Иногда они начинают рассказывать истории, сначала осторожно и тихо, и первым говорит всегда кто-то один. Он водит. Это такая игра, в которую девочку не берут. Первый должен сказать «а помнишь?» или «а мы тогда...», а второй может промолчать, и тогда игра сразу останавливается, и дальше никто не играет, и девочке это нравится, потому что тогда они все-таки остаются здесь. Но чаще всего второй подхватывает и продолжает: «да-да, точно», или «ему так хотелось», или «а он тогда еще сказал...». И тогда игра начинается, и девочка как будто сразу оказывается не с ними, словно холодный сквозняк вдруг захлопывает перед ней огромную чужую дверь, и как ни стучи, как ни тяни за рукав маму, как ни пытайся вернуть их оттуда – уже ничего не получится, потому что игра началась

и унесла ее родителей куда-то далеко, где до них не дотянуться. Они там, за дверью, в другом мире, которого она совсем не знает. Они превращаются в совсем других – таких, которых она тоже не знает, но они так ей нравятся. Она хочет их себе, этих папу и маму – веселых, ярких, смешливых, живых. Они что-то рассказывают, перебивают друг друга и потом вдруг начинают по-настоящему смеяться. Ей так хочется к ним, и она пытается тоже что-то сказать – ведь она слышала все эти истории уже так много раз, знает каждую наизусть, знает правила игры и вступает вовремя, тоже перебивает и тоже говорит: «А он тогда сказал» или «У него так хорошо получалось!». Но каждый раз она делает что-то не так, потому что игра сразу ломается, и взрослые как будто вдруг падают откуда-то сверху, где им было хорошо и счастливо, где они смотрели друг на друга и смеялись, они падают с этого свысока, ударяются и им становится больно, потому что они вдруг болезненно морщатся, отворачиваются друг от друга, и кто-то из них обязательно говорит девочке: «Не придумывай». Но ведь она не придумывает! Она знает каждое слово в этой игре, каждую мелочь в этих историях. Почему же они ей не верят? Почему они не берут и ее поиграть? «Это было еще тогда, – говорят они. – До тебя. Ты не можешь этого знать». Но девочка не знает никакого до нее, она знает этот мир сейчас. Она не хочет знать про до нее, она хочет своих историй. Чтобы мама и папа так же играли и с ней, чтобы у них получилась своя игра. Но они если и рассказывают друг другу или друзьям истории про нее, то совсем не так и смеются тоже не так. Они смеются не из гордости, а оттого, что девочка сказала глупость или у нее что-то опять не получилось. Или вспоминают, как она убежала в тот раз от мамы и стукнулась лбом об калитку на даче, и калитка гудела, как будто у девочки железный лоб, и от этого всем было смешно. Но она тоже помнит, как обидно тогда споткнулась, не удержалась и стукнулась, и ей было больно, и ей не нравится такая игра. Ей хочется плакать, и почему-то становится стыдно. Но она не капризничает, не спорит и не обижается. Ей сказали, что она должна понимать. И девочка тоже говорит себе, что так нужно. Мир до нее был смешной и счастливый. Мир с ней – совсем не такой. Может, это случилось из-за нее? Может, это она испортила что-то в этом мире и из-за нее он сломался? В том мире не было ее, а был мальчик. Он есть и сейчас. Она знает – ведь он везде, и говорят только о нем. Девочке известны все его истории, и в мире, который сейчас, нет даже маленького места для ее собственных. Тут по-прежнему всё его. Мальчик большой, а она маленькая. Мальчик умный, красивый и сильный. А она совсем на него не похожа, как ни старайся.

* * *

– Здравствуйте! Меня зовут Даша, и я – алкоголичка.

– Здравствуй, Даша!

– Я не пью уже два года. И только благодаря этой программе. Я очень горжусь собой. Хотя... Да нет. Я совсем собой не горжусь.

– Даша, у нас сегодня новые люди, может, расскажешь побольше о себе и о том, как ты проходила программу «12 шагов»? Тебе действительно есть чем гордиться, любой из нас может это подтвердить. У тебя было столько срывов, но ты справилась. Я думаю, твоя история поможет новеньким и сможет их поддержать.

– Хорошо. – Она обвела глазами всех, кто сидел в кругу, разгладила дорожную твидовую юбку на коленях – у нее были длинные ноги, и на нее было очень приятно смотреть. Все остальные робели, суеились, когда рассказывали, прятали глаза и ерзали, а эта молодая женщина говорила спокойно и очень уверенно, смотрела открыто и прямо. – У меня в семье никогда никто не пил. То есть у нас не было запойных алкоголиков. Было шампанское на Новый год и вино по праздникам. Иногда папа мог позволить себе рюмку водки перед обедом на выходных после прогулки или в отпуске. Бабушка любила коньяк, но цедила его по капле – от давления и головной боли. Мне никогда не нравился алкоголь – ни вкус, ни эффект. В первый раз я

по-настоящему напилась, когда мне было тринадцать или даже двенадцать. Меня позвали на день рождения к подружке, когда я была на каникулах у бабушки, и бабушка... не моя, а той девочки, у которой был день рождения, поставила нам на стол бутылку какого-то очень сладкого вина. Не знаю, что это было – может, дешевый портвейн, а может, она сама приготовила это пойло. Хотя нет, бутылка вроде была магазинная, я ее запомнила. У нас в доме я таких никогда не видела, но в магазинах такие стояли, вместо пробки – сургуч. Что-то очень дешевое. Гостей было всего трое. То есть даже двое. И именинница. И эта очень взрослая женщина, эта бабушка, поставила бутылку вина на стол, за которым сидели три девочки. Дети. Я очень поздно повзрослела, тогда была совсем ребенком и очень доверяла взрослым. Раз поставили, значит, можно и нужно. Меня вообще в детстве хвалили, когда я хорошо ела, и на стол никогда не ставили вредного или опасного. Так что мы старательно выпили эту бутылку втроем, хотя на самом деле практически вдвоем. Именинница была младше нас на год или полтора, и ее бабушка сказала, что ей пока рано. И та сидела и смотрела, а мы пили. Смотрела с таким хитрым личиком... Знаете, вот сейчас я рассказываю и думаю, что, возможно, эта бабушка нарочно хотела нас напоить, чтобы показать внучке, как это безобразно? Как будто сводила ее в зоопарк?

– Да мало ли, что у нее было в голове! Разве так можно с детьми? Она же и сглазить, и отравить вас могла! – воскликнула полненькая женщина, сидящая через два стула от Даши. Ей явно было не очень комфортно, она все время ерзала и беспокоилась, как будто искала опору, не зная, за что ухватиться.

– Наверное. – Даша повернулась, посмотрела ей прямо в глаза и кивнула с благодарностью. Полненькая сразу перестала ерзать. От Дашиной уверенности или от того, что ей в этот момент показалось, будто ее пришили к стулу. – Наверное. По крайней мере, очень может быть, что она могла нас отравить. А разве алкоголь не яд? Конечно, яд. Особенно для детей. В тот вечер мне было очень плохо. Меня рвало всю ночь, я не могла встать на ноги весь следующий день, а потом у меня начались головокружения, очень частые. Я могла идти и вдруг упасть. Меня до сих пор укачивает даже в лифтах. Мама тогда решила – переходный возраст. Врачи говорили, что-то сосудистое. Я не вникала. Но твердо уяснила, что алкоголь для меня – это плохо. И спустя несколько лет, когда я выросла и уже стала работать... – Она сделала паузу. – Я очень много работаю, у меня большая нервная нагрузка. Так вот, я знала, что алкоголь для меня плохо, и я начала пить. Не для удовольствия, а в наказание, когда что-то не получалось. Я знаю, у многих здесь проблемы начались как раз из-за того, что они радовали себя алкоголем, убегали от сложностей в иллюзии, туда, где хорошо. А я наказывала себя. Мне надо было загнать себя туда, где плохо. Мне нравилось наказывать себя, все разрушать. Я пила, когда была недовольна собой, я хотела, чтобы мне стало дурно, чтобы я мучилась. Потом оказалось, что алкоголь давал мне не только способ наказать себя физической болью, этим мерзким состоянием, но это была еще и возможность изолировать себя, усложнить жизнь. Я стала напиваться перед важными встречами, срывала переговоры, чтобы потом носиться, извиняться, унижаться и стараться каждый раз придумывать способы все исправить. И у меня каждый раз получалось. Это был восторг, дофамин и очень крутое чувство – меня любят и ценят, несмотря ни на что. Даже если я сильно провинилась и балансирую на самом краю. Знаете, я тогда как будто расставляла для себя ловушки, падала в них и смотрела со стороны, выберусь или нет. И ведь выбиралась. И в следующий раз усложняла задания, пока однажды не сорвалась основательно. Ловушка оказалась слишком глубокой. Я пропустила момент, когда должна была вмешаться и броситься себя спасать. Наговорила лишнего конкурентам, нагрубила начальству. Пришла пьяной на встречу с партнерами. Меня уволили. Работа была для меня всем, и я тогда не на шутку испугалась. Мне стало так страшно, что я... опять напилась. Никто из моей семьи не знал, что я пью. После того как меня уволили, я почти не трезвела. Это уже был наркоз. Я просто хотела отключиться. Ничего лучше я не заслуживала. Но от близких

я умело все скрывала. Просто я очень злилась на себя, и мне было жутко стыдно. Как-то раз сестра привела ко мне племянницу, чтобы я с ней посидела. Я обожаю эту малышку. Я обожаю сестру. Это главные люди в моей жизни... – Она замолчала, положила ногу на ногу, опустила взгляд и просидела так несколько минут. Потом снова подняла голову, посмотрела прямо в глаза человеку, который сидел напротив нее, и продолжила: – Сестра оставила меня со своей дочкой на пару дней. Она улетела в командировку, ее муж тоже был в отъезде. Мы играли, потом смотрели мультики, а потом... Сонечке не понравился суп, который я ей приготовила, и она наотрез отказалась его есть. Я психанула, заказала ей пиццу, а сама расстроилась и выпила. Много. Я помню, что сильно на себя злилась из-за этого всего, из-за того, что не могла держать себя в руках, не могла остановиться. Я расплакалась. Ушла в ванную, закрылась, чтобы не расстраивать Сонечку. В ванной у меня была спрятана еще одна бутылка вина. Я набрала ванну, выпила еще и, кажется, заснула... Отключилась. Племянница стучала в дверь, звала, плакала, а я ничего не слышала. Совсем ничего! Лежала в остывшей холодной воде и ничего не чувствовала. Уже ночью приехали мои родители, сломали дверь и выволокли меня оттуда. Сонечка смогла им позвонить. Представляете, что пришлось пережить ребенку? А моим маме и папе? И тогда я поняла, что могу наказывать и разрушать себя сколько угодно, но мои близкие не должны из-за этого страдать. Они этого не заслужили. Я очень сильно их люблю. Мои родители не заслужили такую дочь. Моя племянница... – Голос у нее сорвался. – Крошечная девочка не должна была в отчаянии плакать под дверью. Она так сильно испугалась, что потом пришлось обращаться к специалистам – Сонечка подумала, что я умерла, и решила, что из-за нее. Я чуть не искалечила всем жизнь. Я должна была срочно все исправить. С тех пор я не пью уже два года. Но самое главное – я постепенно стала относиться к себе лучше. Я пришла в эту программу, и мне помогли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.